

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------|---|
| Предисловие | 6 |
|-----------------------|---|

ИЗ ШКОЛЫ НА ФРОНТ

| | |
|----------------------------------------|----|
| Утро красит нежным светом... | 14 |
| Уроки музыки | 23 |
| Будь здоров, школяр | 40 |

ОТДЕЛЬНЫЕ НЕУДАЧИ СРЕДИ СПЛОШНЫХ УДАЧ

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| Нечаянная радость | 118 |
| Гитарист | 129 |
| Большая честь | 132 |
| Новенький как с иголочки | 135 |
| Отдельные неудачи среди сплошных удач | 222 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я родился в 1924 году, 9 мая, у Грауэрмана, на Арбате. Первая моя квартира — дом 43. Квартира на 4-м этаже, средних размеров по коммунальным масштабам, 5 соседей. Раньше это была квартира фабриканта Каневского, нэпмана. После нэпа он был директором своей же фабрички. А потом уехал во Францию с семьей.

Отец мой был прислан в комакадемию из Грузии учиться. На Арбате ему дали две маленькие комнатки в той коммуналке. И мать жила с нами. После моего рождения отца отправили обратно на Кавказ. Он продолжал работать комиссаром грузинской дивизии. А мама работала в аппарате горкома партии здесь.

А потом пришло время мне учиться. И меня отправили в Тбилиси, где я поступил в первый класс. Это был такой странный первый класс, где были экзамены по-русски. На экзамене каждому давали табличку, на табличке был нарисован лабиринт. В центре лабиринта — колбаса, а снаружи мышка, нужно было найти кратчайший путь до колбасы. О Пушкине мы не слышали ничего, Пушкин не существовал, Лермонтов не существовал, Тургенев не существовал, Толстой не существовал. Все они были помещики.

Потом отец работал уже секретарем Тбилисского горкома партии. У него были нелады с Берией, очень серьезные. И дошло до того, что отец мой поехал в Крым, к Сергею Орджоникидзе, и попросил направить его на работу в Россию, потому что в Грузии он работать не мог. И Сергей отправил его на Урал. Парторгом ЦК на вновь строя-

щийся в первой или второй пятилетке вагоностроительный завод.

Вот в 1932 году отец отправился на Урал — там еще была дикая тайга и несколько бараков. А потом выписал и нас. Я жил там, учился до ареста отца. До февраля 1937-го.

Мы вернулись в Москву. Опять в эти же две комнаты. Мать, конечно, исключили из партии тут же. Она устроилась кассиром в какую-то артель. И занималась тем, что в свободное время бегала, добивалась приема у Берии, чтобы сказать ему: «Ты же знал его по работе, он не может быть троцкистом или английским шпионом». Она добивалась, добивалась до тех пор, пока не пришли однажды ночью и не забрали ее тоже.

Я остался с бабушкой. В это время был уже брат. Он родился в 1934-м. Жили мы впроголодь. Страшно совершенно. Учился я плохо. Курить начал, пить, девки появились. Московский двор, матери нет, одна бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался с темными ребятами. Как я помню, у меня образцом молодого человека был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражка, челочка и фикса золотая.

Я был политический мальчик. И я знал, что мои родители — такие коммунисты, каких не бывает вообще в природе. Произошла ошибка какая-то. И когда это до Сталина дойдет, он все исправит.

В конце 1940 года тетка решила меня отсюда взять. Потому что я совсем отбился от рук, учиться не хотел, работать не хотел. Я приехал в Тбилиси перед самой войной.

Потом война. Я, конечно, начал бомбардировать военкомат. С приятелями мы требовали, чтобы нас забрали в армию.

Мы охаживали капитана Качарова. Он сначала орал на нас, топал ногами, потом привык и, чтобы отвязаться,

поручил повестки разносить. Мы ходили по дворам. Нас били за эти повестки, бывало. Горесть приносили.

Потом я ушел из школы. Работал на заводе учеником токаря. Занимался ровировкой стволов огнемета. Что такое ровировка, до сих пор не знаю. Что-то тяжелое мы делали изо дня в день, из ночи в ночь, по 14–16 часов безвылазно...

* * *

Я все ходил и ходил к военкому, надоедал. Наконец, этот Качаров не выдержал и сказал: «Вот вам повестки». Мы сели и сами себе их написали.

Мне было 17 лет. Тетка моя всполошилась, сказала, что пойдет в военкомат, что все перевернет, что это безобразия. Я ей сказал: если она пойдет, я убегу из дома.

Мы с моим другом Юрием Попенянцем получили направление в 10-й Отдельный запасной минометный дивизион. В Кахетии он располагался.

Это был апрель 1942 года. Мы ходили в своем домашнем, присяги не принимали, потому что формы не было. А потом нам выдали шапки альпийских стрелков, и мы, обносившиеся, босиком, в этих альпийских широкополых шляпах, запевая и ударяя босыми ногами в грязь, ходили строем.

А потом в один прекрасный день осенний нас передислоцировали в Азербайджан. Там мы прожили немножко, мечтая попасть на фронт. Потому что здесь кормили плохо, а все рассказывали, что на фронте кормят лучше, там фронтовая пайка, там нужно козырять, там своя жизнь. Фронт был вожделенным счастьем. Все мечтали об этом.

Однажды нас вдруг подняли. Повезли в баню и после помывки выдали новую форму.

Но повезли не на фронт, а под Тбилиси в какой-то военный городок за колючей проволокой. Там мы изучали искусство пользования ручной гранатой. Раздали вечером

гранаты и предупредили, что если сунуть неудачно капсулю внутрь, то тут же взрыв, и все. Гранаты заставили на пояс прицепить, капсули отдельно, и велели лечь спать. Мы ложились медленно, стараясь не дышать. Ночь была страшная.

Утром смотрим: стоят «Студебеккеры», новенькие американские, наши минометы прицеплены к ним. По машинам! И начались наши фронтовые скитания.

Это была Отдельная минометная батарея, которая придавалась разным частям. Вот мы едем-едем, нас должны придать такому-то полку. Приезжаем, оказывается, там уже батарея есть. Потом несколько дней ждем, потом нас отправляют в другое место. Опять эшелон, опять придают какому-то полку. Придали, оказывается, у нас нет довольствия. Все жрут, а нам есть нечего. Что делать? И командир нам как-то говорит, что надо самим еду доставать. Мы по парам разделились и пошли по разным кубанским селам просить милостыню. Кто что давал. В казарме все это раскладывали на одинаковые кучки. Потом один отворачивался: «Кому?» — «Тому». Так командиры питались и мы.

Потом попали на фронт. Помню, первый раз мне сказали: «НАШИ ПОШЛИ В АТАКУ». И я сразу представил себе, как в фильме: идут колонны в бой, с красными знаменами, впереди гордые командиры...

А потом выглянул из-за холма, посмотрел: атаквали населенный пункт. И я увидел: бежит человек с автоматом — падает, потом другой — падает, потом первый поднимается, бежит и снова падает. Меня это так поразило и сокрушило: я-то ждал вдохновенных гимнов, а получилось вот что.

Да, был романтизм. Но он очень быстро сошел на нет. Война — это грязь, война — это мерзость. Какая бы она ни была. Приходится иногда брать в руки оружие и защищаться от нашествия. Это необходимо, но я не воспеваю войну.

У Толстого есть фраза: «Патриотизм — последнее прибежище для негодяев». Мне здесь трудно спорить с Львом Николаевичем. Никогда об этом не задумывался. Я думаю, что патриотизм — биологическое чувство. Хочу я или нет — я патриот. Я на этом вырос.

* * *

На фронте меня ранило весьма прозаически из крупнокалиберного пулемета, с самолета. «Рама» летала и простреливала. Случайно какая-то пуля раздробила кость и застряла в бедре. Я долго ее потом носил на веревочке...

Я вообще в чистом виде на фронте очень мало воевал. В основном скитался из части в часть. А потом — запасной полк, там мариновали. Но запасной полк — это просто лагерь. Кормили бурдой какой-то. Заставляли работать. Жутко было.

Осенью 1943-го опять баня, опять новая одежда. Эшелон. И повезли. Слух пошел, что под Новороссийск нас везут. По пути к поезду выходили крестьяне. С жратвой. Мы им американские ботинки рыжие, и они взамен тоже ботинки, но разбитые, и еще в придачу кусок хлеба и сала кусок.

Поэтому мы приехали к месту назначения грязные, рваные, похожие на обезьян, спившиеся. И командиры, и солдаты. И нас велели отправить в Батуми, в какую-то воинскую часть, приводить в чувство. Там казармы, на полу — солома, прямо на соломе мы спали. Ничего не делали. Я запомнил только то, что повели нас на экскурсию почему-то дачу Берии смотреть. Большой белый дом на холме. Разрешили через окна посмотреть убранство. Роскошная столовая, громадная, барская. А товарищи мои были в прошлом профессиональные жулики. Очень добрые ребята.

Они там побегали по даче, разнюхали. Мы пришли, легли спать. Ночью я проснулся — их нет. К утру в казар-

му пришли какие-то люди и ребят арестовали. Выяснилось, что ночью они все столовое серебро унесли. Ночью же отнесли в скупку. Их выследили.

А нас погрузили на баржу и повезли под Новороссийск. У нас почему-то много вина всякого: пьем и пьем, пьем и пьем. Однажды ранним утром нас построили на палубе. Пришел какой-то фронтовой начальник, посмотрел на нас и ушел. В таком виде не принимают.

Меня вновь отправили в запасной полк, где я опять мучился, пока не пришли вербовщики. Один офицер набирает людей в артиллерию большой мощности — резерв главного командования. Часть стояла где-то в Закавказье, в горах. Не воевала с первого дня. И не предполагается, что будет воевать. Подумал: что там-то может быть трудного? Снаряды подносить — эта работа мне не страшна. А что еще? Думаю: такая лафа. И я завербовался.

Большинство ребят на фронт рвались. Потому что там жратва лучше была. И вообще повольнее было. Если не убьют, значит, хорошо. А я пошел в эту часть...

Нас повезли высоко в Нагорный Карабах, там, в Степанакерте, располагалось то ли Кубанское, то ли Саратовское пехотное училище. И меня перевербовали в него курсантом. Я посчитал: через полгода буду младшим лейтенантом...

Зачислили меня, и началась муштра невыносимая. Такая муштра началась, что не дай бог. Полгода ждать — умру. Я человек нетерпеливый. Месяца три промучился. Иду к замполиту, разрешите доложить: так, мол, и так, отец мой арестован, враг народа. Он говорит, сын за отца не отвечает.

Я говорю, я знаю все, но на всякий случай, чтобы вы не сказали, что я скрыл. Молодцом, говорит, правильно сделали. Идите, работайте спокойно. И я с горьким сердцем пошел работать спокойно. На следующее утро построение

после завтрака, Окуджава, Филимонов, Семенов — выйти из строя, остальным — на занятия шагом марш! А нам — продаттестаты и назначение в артиллерийскую часть, из которой меня переманили...

Незадолго до конца войны меня положили в госпиталь. Я там провалялся. Вышел из госпиталя уже в начале сорок пятого года. И получил трехмесячный отпуск. Приехал в Тбилиси к тетке. Там у нее встретил окончание войны.

Когда я был в этом отпуске, я экстерном закончил десятый класс...

* * *

На фронте были свои достоинства: какая-то раскованность, возможность сказать правду в лицо, себя проявить, было какое-то братство. И все, пожалуй. Война учила мужеству и закалке, но закалку и в лагере получали.

А в основном это был ужас и разрушение душ. Были люди, которые вспоминают лагерь с удовольствием. Сидела с моей матерью одна женщина. И потом, когда встречались каторжанки, говорили о прошлом, о кошмарах лагеря, она счастливо вспоминала: «А помнишь, как жили дружно, как я вам супы разливала? Вот было время!»

Я хотел сказать другое. Когда я только отправился на фронт, во мне бушевала страсть защититься, участвовать, быть полезным. Это был юношеский романтизм человека, не обремененного заботами, семьей. Я не помню, чтобы простой народ уходил на фронт радостно. Добровольцами шли, как ни странно, интеллигенты, но об этом мы стыдливо умалчиваем до сих пор. А так война была абсолютно жесткой повинностью. Больше того, рабочие, как правило, были защищены лиферами всякими, потому что нужно было делать снаряды. А вот крестьян отдирали от земли.

Аппарат подавления функционировал точно так же, как раньше, только в экстремальных условиях — более жестко, более откровенно.

Я помню, написал один материал военный: войну может воспевать либо человек неумный, либо если это писатель, то только тот, кто делает ее предметом спекуляции. И поэтому все эти повести и романы наших военных писателей я не могу читать, я понимаю, что они недостоверны. Просчеты, поражения — все это умалчивается. А теперь особенно.

Прошлые 60 лет вообще превратились в ложь. В зале Чайковского поэтический вечер. Я выхожу, читаю стихи против Сталина, против войны, и весь зал аплодирует (это я к примеру говорю). Потом выходит Андрей Дементьев и читает стихи о том, как славно мы воевали, как мы всыпали немцам, так пусть они знают свое место, пусть помнят, кто они такие, и зал опять аплодирует.

Мало кто думает о том, что немцы сами помогли Советскому Союзу себя победить: представьте себе, если бы они не расстреливали, а собирали колхозников и говорили бы им: мы пришли, чтобы освободить вас от ига. Выбирайте себе форму правления: хотите колхоз, пожалуйста, — колхоз. Хотите единоличное хозяйство — пожалуйста. Если бы они превратили наши лозунги в дело, они могли бы выиграть войну.

Но системы у нас похожи. Они поступали точно так же, как поступали бы мы. Просто наша страна оказалась мощнее и терпеливее.

*(Из интервью Б.Ш. Окуджавы
«Новой газете» и газете «Эпоха»)*

ИЗ ШКОЛЫ НА ФРОНТ

Утро красит нежным светом...

Прошлое, давно прошедшее, минувшее, бывшее, история — какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно: лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами:

— Вы что, ничего не слышали?

— Слышали, — сказал дядя Николай, — столько чего слышали... А что вы имеете в виду?

— Война, — сказала она.

— А-а-а, — засмеялся дядя Николай. — Таити напало на Гаити?

— Перестань, — сказала тетя Сильвия. — Что случилось, дорогая?

— Война, война... — прошелестела соседка. — Включите же радио!

По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно — все было прежним.

— Вот что, — сказала тетя Сильвия дяде Николаю и мне, — бегите в магазин и купите побольше масла... Я знаю, что такое война!..

Мы отправились в магазин. Народу было много, но продукты, как обычно, лежали на своих местах. Мы купили целый килограмм масла.

— Может быть, еще? — спросил я.

— Ты сошел с ума! На нас уже смотрят. Стыдно.

Мы принесли то масло домой. Кто знал, что война так затянется?

По улицам потянулись новобранцы. Среди них были и молодые женщины. Все вдруг переменялось. О море думать не хотелось.

Пришел мой друг, Юрка Папинянц.

— Ну, — сказал он, — в военкомат не идешь?

— Конечно, — сказал я, — пошли.

По дороге я сказал:

— Хорошо бы в один танковый экипаж попасть...

— Хорошо бы, — сказал Юрка.

Маленькое, робкое сомнение пискнуло где-то в глубине и смолкло.

В военкомате дым стоял коромыслом, грохотали сапоги, толпились люди, плакала какая-то женщина, трудно было протолкнуться.

— Чего пришли? — спросил усталый маленький капитан по фамилии Комаров.

— Да вот пришли, хотим против фашистов воевать... — сказал Юрка. — Хорошо бы в один экипаж.

— Вызовем, вызовем, — сказал капитан. — Идите.

«Вот бюрократ чертов!» — хотел сказать я, но сказал иначе:

— Зачем же вызывать, когда мы сами — вот они? Оформляйте, чего уж тут...

— А ну идите отсюда! — вдруг заорал он.

И мы ушли.

— Наверное, мы неправильно вошли, — сказал я, — что-нибудь не так сказали... Все-таки на фронт просимся, а не на базар...

На следующий день мы отправились снова, но нас опять выгнали. И на третий день тоже, и на четвертый... Но на восьмой нас не выгнали.

— Э-э-э-э, — сказал капитан, — черт вас дерит совсем! Надоели, будьте вы неладны...

Я хотел сказать ему, что и он нам надоел тоже, но не сказал. Мы уже привыкли друг к другу, как родственники.

— Куда ты торопишься? — сказал он мне. — Ну куда? Посмотри на себя: ты ведь совсем цыпленок.

— Ничего, — сказал я браво, — легче маскироваться.

— Э-э-э-э, — сказал он, — надоели! — И вручил нам по пачке розовых повесток: — Чтобы к вечеру разнесли. Все!

— А на фронт? — спросили мы.

— Я сказал — все! — крикнул он, багровея, и мы отправились.

Мы ходили по улочкам Солولاки, и по Грибоедовской улице, и по Судебной, и по улице Барнова и спускались за Александровский садик и в переулки за оперным театром.

В одном из дворов среди низко подвешенных сохнувших простынь и рубашек стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо.

— Кого хотите? — спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку.

— Мнацаканов Альберт, — сказал я и протянул листок.

— Это мой муж, — сказала женщина. — А что хотите?

— Вы ему передайте и распишитесь...

— Он на заводе... — крикнула она, оглядываясь на соседей.

— Слушай, Офелия, — сказал старик, — бери...

Одной повесткой стало меньше.

Вот так мы ходили по дворам. Месяц, два. Каждый раз мы спрашивали капитана Кочарова:

— Когда же нас-то?

— Вызовем, вызовем, — говорил он резко. — Идите. Все. Надоели...

На улицах появились первые раненые из госпиталей.

Они выбирались погулять, одетые в одинаковые халаты, бритоголовые, перекрещенные бинтами. Бродили по проспекту Руставели, сидели в скверах на лавочках. Мы им завидовали. Патрули их пока не трогали.

Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные, мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступить, что было окружение, что многие остались «там». А мы разносили повестки, будь они неладны! И наша отчаянная храбрость, и ненависть к врагу, и героизм, который распирал нас, и все наши удивительные достоинства (мои и Юркины) — все это засыхало на корню.

В один из этих дней появился в нашем доме дядя Борис, младший брат тети Сильвии. От него долго не было известий, и вдруг явился. Он служил водителем грузовика. Я застал его дома, когда он мылся над тазом. На полу валялась его замызганная гимнастерка. В доме пахло потом, бензином, чем-то горелым, невыносимым и восхитительным.

— Что же вы, — сказал я Борису, — взяли и драпанули?

Он ничего не ответил, только отфыркивался.

— Уж, наверное, можно там было где-нибудь зацепиться, что ли, — продолжал я строго. — Испугались, что ли.

— Заткнись, — сказал он, — будь человеком...

И ушел в другую комнату. И там он сбросил с себя оставшееся на нем военное, вытащил из шкафа свой единственный гражданский костюмчик, оделся и пошел из дому. В окно я видел, как он шел по Грибоедовской — медленно, вальяжно, по-тбилиски... Наверное, он надеялся за несколько часов передышки отыскать кого-нибудь из старых своих знакомых шоферов, кто, может быть, еще был в Тбилиси и кто, может быть, уже не надеялся снова увидеть его живым.

Не успел он пройти и двадцати шагов, как я с лихорадочной поспешностью напялил на себя его гимнастерку, галифе, сапоги, пилотку и, распространяя благоухание окопов, выскочил на Грибоедовскую и двинулся к Юрке Папинянцу. Просто так идти не хотелось — я ударил строевым шагом и так строевым прошел до самых Сололак, козыряя военным и счастливо избежав патрулей...

— Что же делать? — сказал я Юрке. — Когда же мы? Города сдают, земля горит...

— Ничего, — сказал он философски, — все будет.

...Бедный капитан Кочаров! Мы все-таки дожали его в один прекрасный день.

— Ладно, — сказал он, еле сдерживаясь, — черт с вами! Завтра придете с кружкой-ложкой. В 9:00.

— А повестки? — спросили мы.

— Бюрократы! — закричал он. — Какие повестки, когда я вам самим говорю!

Но, увидев наши лица, швырнул розовые листки, отошел к окну и прохрипел оттуда:

— Сами будете заполнять, черт вас дери! Моя рука не виновата, запомните. Сами пишите!

Не было ни военкомата, ни капитана Комарова, ни стен, ни Тбилиси...

— Послушай, — сказал я Юрке, — я побегу домой, а ты принесешь повестку... Как будто я ничего не знаю.

Я ворвался в дом и сел у окна, посвистывая. Душа ликовала, колени дрожали, на вопросы домашних отвечал невпопад. Наконец в дверь позвонили, и тетя Сильвия пошла открывать. Не помню, что уж там говорили, какие были восклицания, ссорились, или пели, или Юрку Папинянца выталкивали вон, или, наоборот, торжественно несли на руках, не помню. Он, видимо, убежал, а тетя Сильвия вошла в комнату с розовой повесткой в руке.

— Повестка? — сказал я как ни в чем не бывало. — Действительно пора. Засиделся...

— Этого не может быть! — крикнула тетя Сильвия, оглядывая меня с подозрением. — Это ошибка. Тебе только семнадцать... Это ошибка. Я сейчас пойду к военкому...

— Нет, — сказал я со страхом, — это не ошибка. Разве вы не видите, что происходит кругом?

— Я в свое время, — сказал дядя Николай, — хотел убежать к индейцам... А ты, мальчик, знаешь, куда ты торопишься?

— При чем тут индейцы? — сказал я и сам удивился, как я это сказал.

— Это ошибка, — машинально повторила тетя Сильвия. — Я должна пойти...

— Тетя Сильвия, — сказал я твердо, — не надо идти в военкомат. Я ведь все равно уже решил, вы же это прекрасно понимаете. Сшейте мне лучше вещевой мешок.

Она заплакала. Розовая повестка, покружившись, улеглась на полу.

...Счастливое мгновение! Мы с Юркой получили направление в 10-й ОЗМД (Отдельный запасной минометный дивизион). Вечером тетя Сильвия и дядя Николай проводили меня до трамвайной остановки. Трамваи ходили редко, так что я успел все сказать и все выслушать. А потом пришла «десятка» и повезла меня на вокзал. Я стоял на задней площадке, одетый в серые бумажные брю-